

INSPIRIA

ОЛЬГА
ТОКАРЧУК

ПРАВЕК
И ДРУГИЕ
ВРЕМЕНА



INSPIRIA

Loft. Нобелевская премия: коллекция

Ольга Токарчук

Правек и другие времена

«ЭКСМО»

1998, 2002

УДК 821.162.1-31
ББК 84(4Пол)-44

Токарчук О.

Правек и другие времена / О. Токарчук — «Эксмо», 1998,
2002 — (Loft. Нобелевская премия: коллекция)

ISBN 978-5-04-118115-4

В центре Вселенной находится Правек. А в Правеке — средоточие всего, что есть во Вселенной. Декады, глумясь, сменяют друг друга, вспыхивает и перегорает любовь, мир оборачивается войной, рождаются и умирают дети. «Правек и другие времена» — роман нобелевского лауреата Ольги Токарчук. Произведения Токарчук всегда наполнены ворохом смыслов и размышлений на тему существования, смерти, времени, личности — ведь для нее, как сказано в комментарии нобелевского комитета, «пересечение границ является формой жизни». Романы Токарчук — это взрослые сказки вне времени и пространства, серьезные, глубокие, настоящие. В истории Правека воплотилась история всего человечества, с ее болью, потерями, трансформациями, открытиями и триумфами. Это завораживающее повествование, в котором угадываются реальные исторические события, с привкусом магического реализма!

УДК 821.162.1-31

ББК 84(4Пол)-44

ISBN 978-5-04-118115-4

© Токарчук О., 1998, 2002

© Эксмо, 1998, 2002

Содержание

Время Правека	6
Время Геновефы	7
Время Ангела Миси	9
Время Колоски	11
Время Злого Человека	15
Время Геновефы	17
Время Помещика Попельского	21
Время Матери Божьей Ешкотлинской	23
Время Михала	24
Время Миси	25
Время кофемолки Миси	26
Время Ксендза Настоятеля	28
Время Эли	31
Время Флорентинки	32
Время Миси	34
Время Колоски	37
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Ольга Токарчук

Правек и другие времена

Olga Tokarczuk

PRAWIEK I INNE CZASY

Copyright © Olga Tokarczuk 1998, 2002

© Изотова Татьяна, перевод на русский язык, 2021

© ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Время Правека

Правек – это место, которое лежит в центре вселенной.

Если быстрым шагом пройти Правек с севера на юг, это займет один час. И так же с востока на запад. А если бы кто-то захотел обойти Правек кругом, неторопливым шагом, внимательно все разглядывая и размышляя, – это заняло бы у него целый день. С утра и до вечера.

На севере границей Правека является дорога из Ташува до Келец, оживленная и опасная, так как рождает тоску странствий. За этой границей присматривает архангел Рафал.

На юге граница обозначена городком Ешкотли, с костелом, богадельней и низенькими домиками вокруг вечно грязной рыночной площади. Городок этот представляет угрозу тем, что рождает стремление обладать и быть обладаемым. Со стороны городка Правек стережет архангел Габриэль.

С юга на север, от Ешкотлей до Келецкой дороги, ведет Большак, и Правек лежит по обе его стороны.

Западная граница Правека – это сырые заливные луга, кусочек леса и дворец. При дворце есть конезавод, где один конь стоит столько же, сколько целый Правек. Кони принадлежат Помещику, а луга – Ксендзу Настоятелю. Опасность западной границы – гордыня. Здесь границу стережет архангел Михал.

На востоке границей Правека является река Белянка, отделяющая его земли от земель Ташува. Потом Белянка сворачивает к мельнице, а граница бежит дальше сама, лугами, меж зарослей ольшаника. Опасностью с этой стороны является глупость, которая рождается из желания мудрствовать. Эту границу стережет архангел Уриэль.

В центре Правека Бог насыпал холм, куда каждую весну слетаются тучи майских жуков. Поэтому люди называли его Жучиной Горкой. Ибо дело Бога – творить, а дело людей – называть.

С северо-запада на юг течет река Черная, которая у мельницы соединяется с Белянкой. Черная глубока и темна. Она несет свои воды через лес, и тот отражает в ней свое заросшее лицо. По Черной скользят парусники сухих листьев, а в ее пучинах борются за жизнь неосторожные насекомые. Черная тербит деревья за корни, подмывает лес. Временами на ее темной поверхности возникают водовороты, потому что река может быть гневной и необузданной. Каждый год поздней весной она разливается на луга Ксендза и там загорает на солнышке. Позволяет лягушкам размножаться целыми тысячами. Ксендз воюет с ней все лето, и каждый год под конец июля она милостиво разрешает вернуть себя в свое русло.

Белянка мелка и шустра. Она широко растекается по песку, и ей совсем нечего прятать. Она прозрачна и своим чистым песчаным дном отражает солнце. Она похожа на большую блестящую ящерицу, проскальзывает между тополями и делает озорные повороты. Трудно предугадать ее проказы. В какой-то год она может сделать остров из зарослей ольхи, а потом на целые десятилетия отодвинется далеко от деревьев. Белянка течет перелесками, лугами и пастбищами. Сверкает песчано и золотисто.

У мельницы реки соединяются. Сначала плывут рядом, нерешительные, смущенные вожделенной близостью, а потом впадают друг в друга и друг в друге теряются. Река, вытекающая из этого тигля у мельницы, это уже и не Белянка, и не Черная. Она могуча и без труда приводит в движение мельничное колесо, которое мелет зерно для хлеба.

Правек лежит по берегам обеих этих рек и той третьей, родившейся из их обоюдного вожделения. Эта новая река, которая возникла от объединения Черной и Белянки, называется Река и течет себе от мельницы спокойная и сбывшаяся.

Время Геновефы

Летом четырнадцатого года за Михалом приехали два конных царских офицера в светлых мундирах. Михал видел, как они приближаются со стороны Ешкотлей. Знойный воздух доносил их смех. Михал стоял на пороге дома в своем кафтане, белом от муки, и ждал, хотя ему было уже ясно, чего им надо.

– *Вы кто?* – спросили они по-русски.

– *Меня зовут Михаил Юзефович Небесский,* – ответил Михал, в точности так, как следовало отвечать.

– *Ну, значит, у нас для вас сюрприз.*

Он взял повестку и отнес жене. Она целый день плакала и готовила Михала на войну. И от плача была такой слабой и тяжелой, что не смогла переступить порога дома, чтобы проводить мужа взглядом до моста.

Когда опали цветы картофеля и на их месте завязались маленькие зеленые плоды, Геновефа обнаружила, что беременна. Она отсчитала на пальцах месяцы и досчиталась до первых сенокосов в конце мая. Это, должно быть, произошло именно тогда. Теперь она убивалась, что не успела сказать Михалу. Может, растущий день ото дня живот был каким-то знаком, что Михал вернется, что должен вернуться. Геновефа сама управлялась с мельницей так же, как это делал Михал. Следила за работниками и выписывала квитанции крестьянам, привозящим зерно. Прислушивалась к шуму воды, вращающей жернова, и к грохоту машин. Мука оседала на ее волосах и ресницах, так что когда она стояла вечером у зеркала, то видела в нем старую женщину. Старая женщина потом раздевалась и перед зеркалом изучала живот. Ложилась в постель и, несмотря на подушки и шерстяные носки, не могла согреться. А поскольку в сон, как и в воду, входят всегда маленькими шажками, она долго не могла уснуть. Так что у нее было много времени на молитвы. Сначала «Отче наш», потом молитва Деве Марии, а на самый конец, на сон грядущий, Геновефа оставляла любимую молитву ангелу-хранителю. Она просила его позаботиться о Михале, ведь на войне, быть может, требуется больше, чем только один ангел-хранитель. Потом молитвы переходили в образы войны, которые были просты и убоги, потому что Геновефа не знала иного мира, кроме Правека, и иных войн, кроме субботних потасовок на рынке, когда пьяные мужики выходили от Шлома. Они хватали друг друга за полы кафтанов, валились на землю и катались в черной жиже, перепачканные, грязные и жалкие. И Геновефа представляла себе войну как такое же побоище, прямо посреди грязи, луж и мусора, как драку, в которой все решается сразу, одним махом. Поэтому она удивлялась, что война тянется так долго.

Иногда, отправляясь делать закупки в город, она прислушивалась к разговорам людей.

– *Царь сильнее Немца,* – говорили.

Или:

– *Война закончится на Рождество.*

Но она не закончилась ни на это Рождество, ни на одно из четырех последующих.

Перед самыми праздниками Геновефа выбралась на закупки в Ешкотли. Проходя по мосту, она увидела идущую вдоль реки девушку. Бедно одетую и босую. Ее голые ступни смело погружались в снег, оставляя глубокие маленькие следы. Геновефа вздрогнула и остановилась. Посмотрела сверху на девушку и отыскала для нее в сумке копеечку. Девушка подняла взгляд, и глаза их встретились. Монета упала в снег. Девушка улыбнулась, но в улыбке этой не было ни благодарности, ни симпатии. Показались большие белые зубы, блеснули зеленые глаза.

– *Это тебе,* – сказала Геновефа.

Девушка присела на корточки и пальцем осторожно выковыряла из снега монету, потом повернулась и молча пошла дальше.

Ешкотли выглядели так, словно их лишили красок. Все было черно-бело-серым. На рыночной площади кучками стояли мужчины. Они рассуждали о войне. Города разрушены, а имущество горожан валяется на улицах. Люди бегут от пуль. Брат ищет брата. Неизвестно, кто хуже – Русский или Немец. Немцы травят газом, от которого лопаются глаза. Перед новой будет голод. Война – это лишь первая из бед, за ней последуют другие.

Геновефа обошла кучу конского навоза, который плавил снег перед магазином Шенберта. На фанерке, прибитой к двери, было написано:

АПТЕКА

Шенберт и К^о

на складе содержатся
только перворазрядного качества
мыло хозяйственное
синька для белья
крахмал пшеничный и рисовый
масло свечи спички
порошок против насекомых

Ей вдруг сделалось дурно от слов «порошок против насекомых». Она подумала о том газе, который используют Немцы и от которого лопаются глаза. Чувствуют ли тараканы то же самое, когда их посыпают порошком Шенберта? Ей пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы не стошнило.

– Я вас слушаю, – певучим голосом сказала молодая женщина с огромным животом. Она посмотрела на живот Геновефы и улыбнулась.

Геновефа попросила керосин, спички, мыло и новую рисовую щетку. Провела пальцем по острой щетине.

– Буду наводить порядок к празднику. Полы переваю, занавески постираю, прочищу печку.

– У нас тоже скоро праздник. Освящение Храма – Ханука. Вы ведь из Правека? С мельницы? Я вас знаю.

– Теперь уже мы обе друг друга знаем. Вам когда рожать?

– В феврале.

– И мне в феврале.

Пани Шенберт начала раскладывать на прилавке куски серого мыла.

– Вы не задумывались, зачем мы, глупые, рождем, когда тут война кругом?

– Наверное, Бог...

– Бог, Бог... Он – хороший бухгалтер и следит за колонками «приход» и «расход». Необходим баланс. Сколько уйдет, столько и прибует... А вы, наверно, к сыну такая ладная.

Геновефа подняла корзинку.

– Мне дочка нужна, муж-то на войне, а мальчику без отца расти плохо.

Шенберт вышла из-за прилавка и проводила Геновефу до дверей.

– Да нам вообще дочери нужны. Если бы все вдруг начали рожать дочерей, в мире стало бы спокойнее.

Они обе рассмеялись.

Время Ангела Миси

Ангел видел рождение Миси совершенно иначе, нежели повитуха Куцмерка. Ангелы вообще видят все иначе. Они воспринимают окружающее не через физические формы, в которых мир постоянно себя воспроизводит и которые сам же уничтожает, но через их смысл и душу.

Ангел-хранитель, приставленный Богом к Мисе, видел разбитое страданием обмякшее тело, колышущееся в бытии, словно лоскуток, – это было тело Геновефы, рожаящей Мисю. А саму Мисю Ангел видел как свежее, пустое и светлое пространство, в котором через мгновение появится ошарашенная, едва проснувшаяся душа. Когда ребенок открыл глаза, Ангел-хранитель поблагодарил Всевышнего. Потом взгляд ангела и взгляд человека впервые встретились. И Ангел затрепетал, как только может трепетать ангел, не имеющий тела.

Ангел принял Мисю в этот мир за спиной повитухи, он очищал ей пространство для жизни, показывал ее другим ангелам и Всевышнему, а его бестелесные губы шептали: «Смотрите, смотрите, вот она, моя душа-душенька». Его переполняла необыкновенная, ангельская нежность, любовное сопереживание – то единственное переживание, которое есть у ангелов. Ведь Творец не дал им инстинктов, эмоций и потребностей. Если бы они все это получили, то не были бы существами духовными. Единственный инстинкт, который имеют ангелы, это инстинкт сопереживания. Единственное переживание ангелов – это бесконечное, тяжелое, точно небосвод, сопереживание.

Теперь Ангел видел Куцмерку, которая обмывала ребенка теплой водой и вытирала мягкой фланелью. Потом он посмотрел в покрасневшие от напряжения глаза Геновефы.

Он наблюдал за событиями, словно за текущей водой. Они не интересовали его сами по себе, не пробуждали любопытства, потому что он знал, откуда и куда они текут, знал их начало и конец. Он видел ход событий: похожих и непохожих, близких во времени и отдаленных, вытекающих одно из другого и совершенно друг от друга не зависящих. Но и это не имело для него значения.

События для ангелов являются чем-то вроде сна или фильма без начала и конца. Ангелы не способны принимать в них участие и не могут извлекать из них пользу. Человек учится у мира, учится у событий, учится знанию о мире и о себе, отражается в событиях, определяет свои границы и возможности, дает себе названия. Ангел не должен ничего черпать извне, он познает все через самого себя, все знание о мире и о себе он сам в себе заключает – таким создал его Бог.

У ангела нет такого разума, как у человека, он не делает выводов и предположений. Он не мыслит логически. Некоторым людям он может показаться глупым. Но ангел изначально носит в себе плод с древа познания, чистое знание, которое можно обогатить только предчувствием. Это разум, освобожденный от мышления, а вместе с ним – от ошибок и идущего вслед за ними страха. Это сознание без предубеждений, возникающих от неверного восприятия. Но, как и все, созданное Богом, ангелы изменчивы. Этим объясняется, почему так часто Ангела Миси не было, когда она в нем нуждалась.

Ангел Миси, когда его не было, отводил взгляд от земного мира и смотрел на другие миры, высшие и низшие, на других ангелов, назначенных каждой вещи на свете, каждому зверю и растению. Он видел иерархию всего сущего, удивительную конструкцию, с заключенными в ней Восемью Мирами, видел Творца, погруженного в процесс творения. Но ошибался бы тот, кто решил бы, что Ангел Миси разглядывает лики Господа. Ангел видел больше, чем человек, но не все.

Уносясь мыслями к другим мирам, Ангел с трудом фокусировал внимание на мире Миси, который был похож на мир других людей и животных, темный и полный страдания, словно мутный, заросший ряской пруд.

Время Колоски

Той босой девушкой, которой Геновефа бросила копеечку, была Колоска.

Колоска объявилась в Правеке в июле или августе. Люди дали ей это имя, потому что она собирала с полей оставшиеся после жатвы колосья и жарила их на огне. Потом, осенью, она воровала картошку, а когда в ноябре поля пустели, отсиживалась в трактире на постоялом дворе. Часом кто-нибудь угостит ее водкой, часом перепадет ей краюшка хлеба с салом. Но люди не больно охочи давать что-то за так, задаром, особенно на постоялом дворе, вот Колоска и начала шалавиться. Слегка навеселе, разогретая водкой, она выходила с мужчинами во двор и отдавалась им за кусок колбасы. А поскольку была она единственной столь доступной молодой женщиной на всю округу, мужчины крутились вокруг нее, словно псы.

Колоска была большая и дородная. Со светлыми волосами и светлой кожей, которую не брало солнце. Она всегда бесстыдно смотрела прямо в лицо, даже Ксендзу. Глаза у нее были зеленые, и один из них слегка косил. Мужчинам, которые брали Колоску по кустам, всегда потом бывало не по себе. Они застегивали портки и возвращались в духоту кабака с лицами, залитыми краской. Колоска никогда не желала лечь по-божески. Она говорила:

– Почему я должна лежать под тобой? Я тебе ровня.

Она предпочитала опереться о дерево или деревянную стену шинка и закидывала юбку себе на плечи. Ее зад светился в темноте, словно луна.

Вот так Колоска познавала мир.

Есть два вида усваивания науки. Снаружи и изнутри. Первый из них считается лучшим или даже единственным. Поэтому люди учатся через дальние путешествия, разглядывание, чтение, университеты и лекции – учатся с помощью того, что происходит вне их самих. Человек существо глупое, которому надо всему учиться. Вот он и приклеивает к себе знание, собирает его, словно пчела, накапливает все больше и больше, потребляет и перерабатывает. Но то, что внутри него, то, которое было «глупым» и требовало учебы, оно не меняется.

Колоска училась через усваивание снаружи вовнутрь.

Знание, которым человек обрastaет, ничего не меняет в нем или меняет только с виду, внешне: одна одежка вместо другой. Тот же, кто учится через прием вовнутрь себя, проходит постоянные трансформации, поскольку телесно воплощает в своем естестве то, чему учится.

Так что Колоска, принимая в себя грязных вонючих крестьян из Правека и окрестностей, сама становилась ими. Бывала пьяна точно так же, как они. Так же, как они, напугана войной. Так же, как они, возбуждена. Мало того, принимая их в себя в кустах за трактиром, Колоска брала в себя их жен и детей, их душные и провонявшие деревянные лачуги вокруг Жучиной Горки. В некотором смысле она вбирала в себя целую деревню, каждую деревенскую боль и каждую надежду.

Вот какие университеты были у Колоски. Ее дипломом стал растущий живот.

О судьбе Колоски узнала Помещица Попельская и велела привести ее во дворец. Посмотрела на этот большой живот.

– Тебе вот-вот рожать. Как ты собираешься со всем этим справляться? Я научу тебя шить и готовить. Или будешь работать в прачечной. Кто знает, если все хорошо сложится, сможешь оставить себе ребенка.

Но когда Помещица увидела чужой, бесстыдный взгляд девушки, смело блуждающий по картинам, мебели и обоям, она заколебалась. Когда же этот взгляд соскользнул на невинные лица ее сыновей и дочки, она изменила тон.

– Долгом нашим является помогать в нужде ближнему своему. Но ближний сам должен хотеть этой помощи. Я как раз занимаюсь такой помощью. На моем попечении приют в Ешкотлях. Можешь отдать туда ребенка, там чисто и очень мило.

Слово «приют» приковало внимание Колоски. Она посмотрела на Помещицу. Пани Попельская собралась с духом и решительно продолжила:

– Я раздаю одежду и еду в голодную пору перед новью... Люди не хотят тебя здесь! Ты несешь хаос и разнузданность нравов. Ты плохо себя ведешь. Тебе нужно отсюда уйти.

– А разве мне нельзя быть там, где я хочу?

– Это все мое, это мои земли и леса.

Колоска обнажила в широкой улыбке свои белые зубы.

– Все твое? Ты бедная, маленькая, убогая сука...

Лицо Помещицы Попельской застыло.

– Прочь, – произнесла она замороженным голосом.

Колоска развернулась, и было слышно, как ее босые ступни шлепают по паркету.

– Курва, – бросила ей Франиха, дворцовая уборщица, муж которой летом помешался на Колоске, и ударила девушку по лицу.

Когда Колоска, пошатываясь, брела по гравию подъездной дороги, вдогонку ей свистели плотники на крыше. Тогда она задрала юбку и показала им голый зад.

За парком приостановилась и на минуту призадумалась, куда идти дальше.

Справа от нее были Ешкотли, слева – лес. Ее потянуло в лес. Как только она вошла в гущу деревьев, то почувствовала, что все пахнет иначе: сильнее и отчетливее. Она отправилась в сторону заброшенного дома на Выдымаче, где иногда ночевала. Дом этот был тем, что осталось от какого-то сторевавшего поселения, сейчас его обступал лес. Опухшие от тяжести и зноя ноги не чувствовали жестких шишек. Около реки Колоску пронзила первая, разлившаяся внутри, чужая для тела боль. Постепенно ее начала охватывать паника. «Я умру, сейчас я умру, потому что никого нет, кто мог бы мне помочь», – думала она с ужасом. Она остановилась посередине Черной и поняла, что не сделает дальше ни шагу. Холодная вода омывала ее ноги и низ живота. Из реки она увидела зайца, который тут же спрятался в папоротнике. Она позавидовала ему. Увидела рыбу, петляющую между корнями дерева. И позавидовала ей. Увидела ящерицу, которая заползла под камень. И тоже ей позавидовала. Снова почувствовала боль, на этот раз еще сильнее, еще страшнее. «Я умру, – подумала, – сейчас я просто умру. Начну рожать, и никто мне не поможет». Хотела прилечь в папоротниках у реки, потому что ей нужны были холод и темнота, но, вопреки требованиям тела, пошла дальше. Боль вернулась в третий раз, и Колоска уже знала, что ей осталось недолго.

Полуразрушенный дом на Выдымаче состоял из четырех стен и кусочка крыши. Внутри был только щепень, поросший крапивой. Стоял смрад сырости. По стенам блуждали слепые слизи. Колоска рвала большие листья лопуха и выстилала ими лежанку. Боль возвращалась волнами, все более нетерпеливыми, а когда в какой-то момент стала невыносимой, Колоска поняла, что должна сделать что-нибудь – чтобы выпихнуть ее из себя, выбросить на крапиву и листья лопуха. Она стиснула челюсти и начала тужиться. «Боль выйдет там, откуда вошла», – подумала Колоска и села на землю. Подняла юбку. Не увидела ничего особенного: стенка живота, бедра. Тело по-прежнему было сомкнутым, закрытым в себе. Колоска пробовала заглянуть внутрь, в себя, но ей мешал живот. Дрожащими от боли руками она пыталась хотя бы нащупать место, откуда из нее должен выйти ребенок. Чувствовала кончиками пальцев набухшую вульву и жесткие паховые волосы, но ее промежность не воспринимала прикосновения пальцев. Колоска прикасалась к себе, словно к чему-то инородному, словно к вещи.

Боль усиливалась и мутила рассудок. Мысли рвались, будто истлевшая ткань. Слова и понятия рассыпались, уходили в землю. Набухшее рождением тело захватило полную власть. А поскольку человеческое тело живет образами, они затопили полуотключенное сознание Колоски.

Колоске мерещилось, что она рождает в костеле, на холодном плиточном полу, прямо перед иконой. Она слышала успокаивающее гудение органа. Потом ей мерещилось, будто она

сама и есть играющий орган, будто внутри нее множество звуков, и когда она захочет, то сможет их все сразу из себя извлечь. Она почувствовала себя сильной и всемогущей. Но тут же это всемогущество свела на нет муха, обычное гудение большой фиолетовой мухи прямо над ухом. Боль ударила Колоску с новой силой. «Я умру, умру», – стонала она. «Нет, не умру, не умру», – стонала опять. Пот склеивал ей веки и щипал глаза. Она разразилась рыданием. Потом уперлась руками и с отчаянием начала тужиться. После этого усилия почувствовала облегчение. Что-то хлюпнуло и выскочило из нее. Колоска была теперь раскрыта. Она наклонилась к листьям лопуха и искала в них ребенка, но там ничего не было, лишь теплая вода. Тогда Колоска собрала силы и снова начала тужиться. Зажмурировала глаза и тужилась. Делала выдох и тужилась. Плакала и смотрела вверх. Между прогнившими досками она видела безоблачное небо. И там вдруг узрела своего ребенка. Ребенок неуверенно приподнялся и встал на ноги. Он посмотрел на нее так, как еще никто никогда не смотрел, с огромной, невыразимой любовью. Это был мальчик. Он поднял с земли веточку, которая превратилась в маленького ужа. Колоска была счастлива. Она легла на листья и провалилась в какой-то темный колодец. Вернулись мысли и спокойно, красиво проплывали через ее сознание. «Так, значит, в доме есть колодец. Значит, в колодце есть вода. Поселюсь в колодце, потому что в нем прохладно и сыро. В колодцах играют дети, улитки обретают зрение и дозревают хлеба. У меня будет чем кормить ребенка. А где ребенок?»

Она открыла глаза и с ужасом поняла, что время остановилось. Что нет никакого ребенка.

Снова пришла боль, и Колоска начала кричать. Она кричала так громко, что затряслись стены полуразрушенного дома и переполошились птицы, а люди, сгребавшие сено на лугах, подняли головы и перекрестились. Колоска подавилась и проглотила этот крик. И теперь кричала внутрь, в себя. Ее крик был таким сильным, что живот шевельнулся. Колоска почувствовала между ногами что-то новое и чужое. Она приподнялась на руках и посмотрела в лицо своему ребенку. Глаза ребенка были болезненно зажмурены. Колоска поднатужилась еще раз, и ребенок родился. Дрожа от усилия, она попыталась взять его на руки, но ее ладони никак не могли попасть в тот образ, который видели глаза. И все же она вздохнула с облегчением и позволила себе соскользнуть куда-то в темноту.

А когда проснулась, то нашла ребенка около себя – съжившегося и мертвого. Попыталась приложить его к своей груди. Грудь была больше, чем он, болезненно живая. Над ней вились мухи.

Целый день Колоска пыталась уговорить мертвого ребенка сосать грудь. Под вечер боль вернулась, и Колоска родила послед. Потом опять уснула. Во сне она кормила младенца не молоком, а водой из Черной. Ребенок был призраком, который садится на грудь и высасывает из человека жизнь. Он хотел крови. Сон Колоски становился все беспокойнее и тягостнее, но она не могла от него пробудиться. В нем появилась женщина, большая, как дерево. Колоска видела ее очень отчетливо, каждую деталь лица, прически, одежды. У нее были кудрявые черные волосы, как у еврейки, и чудесное выразительное лицо. Она показалась Колоске красивой. Колоска возжелала ее всем своим телом, но это не было то желание, которое она знала прежде, внизу живота, между ног; оно вытекало откуда-то из середины тела, из места над животом, около сердца. Могучая женщина наклонилась над Колоской и погладила ее по щеке. Колоска заглянула прямо в ее глаза и увидела в них что-то, чего до сих пор не знала и даже не предполагала о его существовании. «Ты моя», – сказала огромная женщина и стала гладить Колоску по шее и набухшей груди. Там, где ее пальцы касались Колоски, тело становилось блаженным и бессмертным. Колоска вся отдалась этим прикосновениям, сантиметр за сантиметром. Потом большая женщина взяла Колоску на руки и прижала к себе. Колоска спекшимися губами нашла сосок. Он пах звериной шерстью, ромашкой и рутой. Колоска все пила и пила.

В ее сон ударил гром, и она вдруг увидела, что по-прежнему лежит в развалившейся избе на листьях лопуха. Все вокруг было серым. Она не знала, рассвет это или сумерки. Во второй

раз где-то очень близко ударил гром, и через секунду с неба обрушился ливень, который заглушил новые раскаты грома. Вода лилась сквозь щербатые доски крыши и смывала с Колоски кровь и пот, охлаждала пылающее тело, поила и кормила. Колоска пила воду прямо из неба.

Когда вышло солнце, она ползком выбралась из дома и начала копать яму и выдирать из земли сплетенные корни. Земля была мягкой и податливой, словно хотела помочь в погребении. В эту неровную ямку Колоска положила тело новорожденного младенца.

Долго разглаживала землю на могилке, а когда подняла взгляд и посмотрела вокруг, все было иным. Это уже не был мир, состоящий из предметов, вещей и явлений, которые существуют рядом друг с другом. То, что видела сейчас Колоска, стало одной громадиной, одним большим зверем или человеком, который принимает различные формы, чтобы размножаться, умирать и возрождаться. Все вокруг Колоски было единым телом, и ее собственное тело стало частью этого большого тела – огромного, всесильного, всемогущего. В каждом движении, в каждом звуке проявлялось его могущество, одной лишь волей оно создавало из ничего нечто и превращало нечто в ничто.

У Колоски закружилась голова, и она прислонилась спиной к развалившейся стене. Созерцание опьяняло ее, словно водка, мутило мысли в голове, будило где-то в животе смех. Все как будто было таким же, как всегда: маленькая зеленая лужайка, по которой бежит песчаная дорожка, за ней сосновый лес, заросший по краям лещиной, легкий ветерок шевелит траву и листья, где-то стрекочет кузнечик и жужжат мухи. И больше ничего. Но теперь Колоска знала, каким образом кузнечик соединяется с небом и что удерживает лещину у лесной дороги. Она теперь видела по-другому. Она видела ту силу, которая пронизывает все вокруг, понимала ее действие. Видела очертания иных миров и иных времен, простирающихся над и под нашими. А еще она видела вещи, которые нельзя назвать словами.

Время Злого Человека

Еще перед войной в лесах Правека появился Злой Человек; впрочем, кто-нибудь эдакий мог жить в этом лесу испокон веков.

Началось с того, что весной на Воденице нашли полуразложившееся тело Бронека Маляка, о котором все думали, что он поехал в Америку. Из Ташува прибыла полиция, осмотрела место и увезла тело на телеге. Полицейские еще несколько раз приходили в Правек, но так ничего и не выяснили. Убийцу не нашли. Потом кто-то обмолвился, что видел в лесу чужака. Он был голый и обросший, словно обезьяна. Шнырял между деревьями. Тогда и другие припомнили, что находили в лесу странные следы: выкопанную в земле яму, отпечаток ступни на песчаной дорожке, трупы зверей. Кто-то слышал в лесу вой. Наводящее ужас не то человеческое, не то звериное завывание.

Вот и начали люди рассказывать, откуда взялся Злой Человек. Перед тем как Злой Человек стал Злым Человеком, он был обычным крестьянином, который совершил страшное преступление, хотя какое в точности – неизвестно.

Неважно, в чем это преступление состояло, но он испытывал угрызения совести, не дававшей ему уснуть ни на минуту, и тогда, измученный ее голосом, он бежал от самого себя, пока не нашел успокоения в лесу. Бродил по этому лесу и в конце концов заблудился. Ему казалось, что солнце пляшет в небе, – и из-за этого он потерял направление. Подумал, что дорога на север наверняка его куда-нибудь выведет. Но потом засомневался в дороге на север и двинулся на восток, веря, что на востоке лес наконец закончится. А пока шел на восток, его снова охватили сомнения. Он остановился, сбитый с толку, не уверенный в выбранном пути. Вновь поменял свое решение и повернул на юг, но по дороге на юг опять заколебался и тут же двинулся на запад. Оказалось, однако, что он вернулся к тому самому месту, откуда вышел – в самом центре большого леса. Так на четвертый день он усомнился в существовании сторон света, на пятый день перестал доверять собственному рассудку, на шестой день забыл, откуда родом и зачем пришел в лес, а на седьмой день – как его зовут.

С той поры он начал делаться похожим на зверя в лесу. Питался ягодами и грибами, а потом стал охотиться на маленьких зверьков. С каждым новым днем из его памяти стирались все большие фрагменты – и все более гладким становился мозг Злого Человека. Он забыл слова, потому что не пользовался ими. Забыл, как надо каждый вечер молиться. Забыл, как разжигать огонь и как им пользоваться. Как застегивать пуговицы кафтана и шнуровать ботинки. Забыл все знакомые с детства песни и само свое детство. Забыл лица близких людей, матери, жены, детей, забыл вкус сыра, жареного мяса, картошки и похлебки.

Это забывание длилось много лет, и в конце концов Злой Человек уже не был похож на того мужчину, который пришел в лес. Злой Человек уже не был самим собой и забыл, что значит быть собой. Его тело начало обрастать волосами, а зубы от жевания сырого мяса сделались крепкими и белыми, как зубы зверя. Его горло издавало теперь хрипы и рычание.

Как-то раз Злой Человек увидел в лесу старика, собирающего хворост, и почувствовал, что человеческая тварь – это нечто для него чуждое и даже отвратительное, поэтому он подбежал к старику и убил его. В другой раз бросился на крестьянина, едущего на подводе. Убил его вместе с лошадью. Лошадь съел, но человека не тронул – мертвый человек был еще более мерзким, чем живой. Потом он убил Бронека Маляка.

Однажды Злой Человек случайно оказался на краю леса и увидел Правек. Вид домов разбудил в нем какое-то неясное чувство, в котором были тоска и ярость. В деревне тогда слышали страшный вой, похожий на волчий. Некоторое время Злой Человек стоял так, а потом развернулся обратно к лесу, опустился на землю и неуверенно оперся руками. И с удивлением обнаружил, что так передвигаться намного удобнее и быстрее. Его глаза, которые были теперь

ближе к земле, видели больше и отчетливее. Его слабый пока еще нюх лучше схватывал запахи земли. Один-единственный лес был лучше, чем все деревни, чем все дороги и мосты, города и башни. И Злой Человек вернулся в лес навсегда.

Время Геновефы

Война наделала переполоху на свете. Сгорел лес на Пшиймах, казаки застрелили сына Херувинов, не хватало мужчин, некому было косить поля, нечего было есть.

Помещик Попельский из Ешкотлей уложил свой скарб на телегу и исчез на несколько месяцев. Потом вернулся. Казаки разорили его дом и погреб. Выпили столетние вина. Старый Божский, который это видел, рассказывал, что одно из вин оказалось таким старым, что его резали штыком, точно желе.

Геновефа следила за мельницей, пока та еще была на ходу. Поднималась на заре и приглядывала за всем. Проверяла, не опаздывает ли кто на работу. А потом, когда все входило в свой обычный шумный ритм, чувствовала внезапно наплывающую, теплую, как молоко, волну облегчения. Было спокойно и безопасно. Она возвращалась домой и готовила спящей Мисе завтрак.

Весной семнадцатого года мельница встала. Нечего было молоть – люди съели все запасы зерна. Правеку не хватало привычного гомона. Мельница была мотором, толкающим мир, машиной, приводящей его в движение. Сейчас слышался только шум Реки. Сила ее расходовалась впустую. Геновефа ходила по мельнице и плакала. Блуждала, словно дух, словно присыпанная мукой Белая Дама. Вечерами сидела на ступеньках дома и смотрела на мельницу. Та снилась ей по ночам. В снах мельница превращалась в корабль с белыми парусами, такой, какой она видела в книжках. В его деревянном теле были огромные, жирные от масла поршни, которые ходили туда и обратно. Он дышал и пыхтел. Из его нутра валил жар. Геновефа хотела его. От таких снов она просыпалась растревоженная, вся в поту. Когда наступал рассвет, она вставала и вышивала за столом свою салфетку.

Во время эпидемии холеры в восемнадцатом году, когда окопали границы деревни, на мельницу пришла Колоска. Геновефа видела, как она бродит вокруг, заглядывает в окна. У нее был изможденный вид. Худая, она казалась еще выше. Ее светлые волосы стали серыми и покрывали плечи грязной пеленой. Одежда была истрепана.

Геновефа наблюдала за ней из кухни, а когда Колоска посмотрела в окно – отшатнулась. Она боялась Колоски. Все боялись Колоски. Колоска была безумная, а может, и больная. Говорила невпопад, бросала проклятия. Сейчас, кружа вокруг мельницы, она была похожа на голодную суку.

Геновефа посмотрела на образ Божьей Матери Ешкотлинской, перекрестилась и вышла на крыльцо.

Колоска повернулась к ней, и Геновефу пронизала дрожь. Такой страшный взгляд был у этой Колоски.

– Пусти меня на мельницу, – сказала та.

Геновефа вернулась в дом за ключами. Молча открыла дверь.

Колоска вперед нее вошла в холодную тень и тут же бросилась на колени, собирая отдельные разбросанные зернышки и горки пыли, которые были когда-то мукой. Она сгребала зерна худыми руками и запихивала себе в рот.

Геновефа шла за ней след в след. Свернувшаяся фигурка была похожа сверху на кучу тряпья. Когда Колоска наелась зерном, она села на землю и начала плакать. Слезы текли по грязному лицу. Глаза ее были закрыты, и она улыбалась. У Геновефы сжалось сердце. Где она живет? Есть ли у нее какие-то родственники? Что она делала на Рождество? Что ела? Геновефа увидела, каким хрупким стало тело Колоски, и вспомнила ее перед войной. Тогда она была дородной, красивой девушкой. Сейчас Геновефа смотрела на ее голые израненные ноги с ногтями крепкими, как звериные когти. Она протянула руку к серым волосам. Тогда Колоска открыла глаза и взглянула прямо в глаза Геновефы, даже не в глаза, а прямо в самую

душу, в самые ее недра. Геновефа отдернула ладонь. Это не были человеческие глаза. Она выбежала на улицу и с облегчением увидела свой дом, мальвы, платице Миси, мелькающее в крыжовнике, занавески. Взяла из дома буханку хлеба и вернулась на мельницу.

Колоска выступила из темноты открытой двери с узелком, полным зерна. Она посмотрела куда-то за спину Геновефы, и ее лицо прояснилось.

– Ах ты лапотуня, – сказала она Мисе, которая подошла к плетню.

– Что случилось с твоим ребенком?

– Умер.

Геновефа протянула буханку на вытянутой руке, но Колоска подошла совсем близко и, беря хлеб, прильнула губами к ее рту. Геновефа дернулась и отскочила. Колоска засмеялась. Положила буханку в узелок. Миса начала плакать.

– Не плачь, лапотуня, твой папа уже идет к тебе, – пробормотала Колоска и пошла в сторону деревни.

Геновефа терла губы фартуком, пока они не потемнели.

В тот вечер ей трудно было заснуть. Колоска не могла ошибаться. Колоска видела будущее, об этом знали все.

И со следующего дня Геновефа начала ждать. Не так, как до сих пор. Теперь она ждала с минуты на минуту. Засовывала картошку под перину, чтобы не остыла слишком быстро. Стелила постель. Наливала в миску воду для бритья. Раскладывала на стуле одежду Михала. Ждала так, будто Михал пошел в Ешкотли за табаком и вот-вот должен вернуться.

Она прождала все лето, и осень, и зиму. Не отходила от дома, не бывала в костеле. В феврале вернулся Помещик Попельский и задал мельнице работу. Откуда он достал зерно на помол, неизвестно. И еще одалживал крестьянам для посева. У Серафинов родился ребенок, девочка, что было воспринято всеми как знак окончания войны.

Геновефе нужно было нанять новых людей на мельницу, потому что много прежних с войны не вернулось. Помещик порекомендовал ей в качестве управляющего и помощника Неделя, из Воли. Неделя был быстрый и деловитый. Он сновал вверх и вниз, покрикивал на мужиков, мелом записывал на стене количество мешков. Когда на мельницу приходила Геновефа, Неделя двигался еще быстрее и кричал еще громче. При этом поглаживал свой жидкий ус, который был так непохож на пышные усы Михала.

Она поднималась навстречу с неохотой. Только по делам и вправду обязательным – ошибка в расчетах зерна, остановка машин.

Однажды, разыскивая Неделя, она увидела молодых парней, перетаскивающих мешки. Они были по пояс голые, с торсами, припорошенными мукой, точно большие кренделя. Мешки заслоняли их головы, поэтому все они казались одинаковыми. Геновефа видела в них не молодого Серафина или Маляка, а мужчин. Голые торсы приковывали ее взгляд, будили беспокойство. Ей пришлось отвернуться и смотреть в другую сторону.

В один прекрасный день Неделя пришел вместе с еврейским паренком. Паренок был совсем молоденький. Он выглядел лет на семнадцать, не больше. У него были темные глаза и черные курчавые волосы. Геновефа обратила внимание на его рот – большой, красиво очерченный, более яркий, чем все рты, которые она когда-либо видела.

– Я взял еще одного, – сказал Неделя и велел паренку присоединиться к носильщикам.

Геновефа разговаривала с Неделей рассеянно, а когда он ушел, отыскала повод, чтобы остаться. Она видела, как паренок снял полотняную рубаху, аккуратно сложил ее и повесил на поручень лестницы. Она испытала волнение, увидев его обнаженную грудную клетку, худую, но с хорошо развитой мускулатурой, смуглую кожу, под которой пульсировала кровь и билось сердце. Она вернулась домой, но с той поры частенько находила повод, чтобы выйти к воротам, где принимали и отдавали мешки с зерном или мукой. Или приходила во время обеда, когда мужчины спускались поесть. Смотрела на их плечи, присыпанные мукой, жилистые руки и

влажную от пота ткань штанов. Помимо ее воли, взгляд искал среди них того единственного, а когда находил, она чувствовала, как кровь ударяет в лицо, как становится жарко.

Этот паренек, этот Эли – она слышала, как его называют, – будил в ней страх, беспокойство, стыд. При виде него сердце ее начинало колотиться и дыхание становилось ускоренным. Она старалась смотреть равнодушно и холодно. Черные курчавые волосы, крепкий нос и странные темные губы. Темная, покрытая волосами сень подмышки, когда он отирал пот с лица. Походка чуть вразвалочку. Несколько раз он встретился с ней взглядом и был испуган, точно зверь, который подошел слишком близко. В конце концов они столкнулись друг с другом в дверях. Она улыбнулась ему.

– Принеси мне мешок муки домой, – сказала.

С того момента она перестала ждать мужа.

Эли поставил мешок на пол и снял полотняную шапку. Тербил ее в белых от муки ладонях. Она поблагодарила, но он не ушел. Она увидела, как он прикусил губу.

– Хочешь компоту?

Он кивнул. Она подала ему кружку и смотрела, как он пьет. Он опустил длинные девичьи ресницы.

– У меня к тебе просьба...

– Да?

– Приходи вечером нарубить дров. Сможешь?

Он кивнул головой и вышел.

Она ждала весь день. Заколола волосы и смотрела на себя в зеркало. Потом, когда он пришел и рубил дрова, она вынесла ему кислого молока и хлеба. Он присел на пеньке и ел. Сама не зная зачем, она рассказала ему о Михале на войне. Он произнес:

– Война уже кончилась. Все возвращаются.

Она дала ему кулек муки. Попросила, чтобы он пришел на следующий день, а на следующий день попросила, чтобы пришел опять.

Эли рубил дрова, чистил печь, делал мелкий ремонт. Они разговаривали редко и всегда на пустые темы. Геновефа разглядывала его украдкой, и чем дольше на него смотрела, тем сильнее ее взгляд прилипал к нему. Потом она уже не могла на него не смотреть. Она поедала его глазами. Ночью ей снилось, что она занимается любовью с каким-то мужчиной, это был и не Михал, и не Эли, а кто-то чужой. Просыпалась с ощущением, что она грязная. Вставала, наливала воду в таз и мыла все тело. Хотела забыть об этом сне. Потом смотрела в окно, как работники спускаются к мельнице. Видела, что Эли украдкой поглядывает на ее окна. Пряталась за занавеску, сердясь на себя за то, что сердце колотится, словно она бегала. «Не буду о нем думать, клянусь», – решала она и принималась за работу. Около полудня шла к Неделе и всегда как-нибудь случайно сталкивалась с Эли. Удивляясь собственному голосу, просила его, чтобы он пришел.

– Я испекла тебе булку, – сказала она и показала на стол.

Он нерешительно сел и положил шапку перед собой. Она села напротив и смотрела, как он ест. Ел он осторожно и медленно. Белые крошки оставались у него на губах.

– Эли?

– Да? – Он поднял на нее глаза.

– Тебе понравилось?

– Да.

Он через стол протянул ладонь к ее лицу. Она резко вскочила.

– Не трогай меня, – сказала.

Паренек опустил голову. Его ладонь вернулась к шапке. Он молчал. Геновефа села.

– Скажи, где ты хотел меня потрогать? – спросила она тихо.

Он поднял голову и посмотрел на нее. Ей показалось, что она видит в его глазах красные огоньки.

– Я бы потрогал тебя вот здесь. – Он показал место на своей шее.

Геновефа провела ладонью по шее под пальцами почувствовала теплую кожу и пульсирование крови. Она закрыла глаза.

– А потом?

– Потом я потрогал бы твою грудь.

Она глубоко вздохнула и запрокинула голову.

– Скажи, где именно.

– Там, где она такая нежная и горячая... Пожалуйста... разреши мне...

– Нет, – сказала Геновефа.

Эли вскочил и встал перед ней. Она чувствовала его дыхание, пахнущее сладкой булкой и молоком, словно дыхание ребенка.

– Тебе нельзя меня трогать. Поклянись своему Богу, что не дотронешься до меня.

– Девка, – прохрипел он и швырнул на землю смятую шапку. За ним хлопнула дверь.

Эли вернулся ночью. Осторожно постучал, и Геновефа знала, что это он.

– Я забыл шапку, – сказал он шепотом. – Я люблю тебя. Клянусь, что не дотронусь до тебя, пока сама этого не захочешь.

Они сели на полу в кухне. Языки красного пламени освещали им лица.

– Вот выяснится, жив ли Михал... Я все еще его жена.

– Я буду ждать, только скажи, как долго?

– Не знаю. Ты можешь смотреть на меня.

– Покажи мне грудь.

Геновефа спустила с плеч ночную сорочку. Красным светом блеснули обнаженные груди и живот. Она слышала, как Эли задержал дыхание.

– Покажи, как ты меня хочешь, – прошептала она.

Он расстегнул штаны, и Геновефа увидела. Она почувствовала то наслаждение из сна, которое было венцом всего, всех взглядов, всех вздохов. Наслаждение вне всякого контроля, которое невозможно удержать. То, что сейчас появилось, было пугающим, потому что больше, чем оно, уже ничего быть не могло. Оно сбывалось, проливалось, заканчивалось и начиналось, и отныне все, что ни произойдет, будет пресным и отвратительным, а голод, который проснется, будет сильнее, чем что бы то ни было прежде.

Время Помещика Попельского

Помещик Попельский утрачивал веру. Он еще не перестал верить в Бога, но Бог и иже с Ним становились какие-то невыразительные, плоские, как гравюры в его Библии.

Все было в полном порядке, когда из Котушува приезжали Пелские, когда он играл по вечерам в вист, когда разговаривал об искусстве, когда обходил свои подвалы и подрезал розы. Все было в порядке, когда из шкафов пахло лавандой, когда он сидел за своим дубовым столом, держа в руке перо в золотой вставочке, а вечером ладони его жены массировали ему усталую спину. Но как только Помещик выходил или выезжал куда-нибудь за пределы дома, да хотя бы в Ешкотли на грязный рынок или в окрестные деревни, он совершенно терял иммунитет к миру.

Он видел разваливающиеся дома, прогнившие заборы, истертые временем камни, которыми вымощена главная улица, и думал: «Я родился слишком поздно, мир приближается к концу. Все кончено». У него начинала болеть голова, зрение затуманивалось, и Помещику казалось, что свет меркнет, у него мерзли ноги, и какая-то непонятная боль пронизывала тело. Было пусто и безнадежно. И неоткуда ждать помощи. Он возвращался во дворец и прятался в своем кабинете – на какое-то время это удерживало мир от распада.

Но мир все равно распался. Помещик осознал это в тот миг, когда, вернувшись в поместье после спешного бегства от казаков, узрел свои подвалы. В подвалах все было разгромлено, побито, порублено, сожжено, растоптано и разлито. Он оценивал ущерб, бродя по щиколотку в вине.

– Разруха и хаос, хаос и разруха, – шептал он.

Он лег на кровать в своем разграбленном доме и размышлял: «Откуда в мире берется зло? И почему Бог разрешает зло, ведь он же добрый? А может, Бог вовсе не добрый?»

Лекарством от меланхолии Помещика стали перемены, происходившие в стране.

В восемнадцатом году много всего предстояло сделать, а ничто так не лечит тоску, как активная деятельность. Весь октябрь Помещик потихоньку раскачивался для общественного почина, пока в ноябре меланхолия наконец не покинула его и он не оказался на противоположном полюсе. Теперь, наоборот, он вообще не спал, и у него не было времени даже поесть. Он курсировал по стране. Побывал в Кракове и увидел его, как пробужденная ото сна принцесса. Организовал выборы в первый сейм, был основателем нескольких товариществ, двух партий и Малопольского Союза Владельцев Рыбных Прудов. В феврале следующего года, когда утвердили малую конституцию, Помещик Попельский простудился и снова оказался в своей комнате, в своей кровати, с головой, обращенной к окну, – то есть в том же месте, откуда вышел.

После воспаления легких он возвращался к здоровью, словно из дальнего путешествия. Много читал и начал писать дневник. Ему хотелось с кем-нибудь поговорить, но все вокруг казались ему банальными и неинтересными. Поэтому он велел приносить ему в постель книги из библиотеки и по почте заказывал все новые.

В начале марта вышел на первую прогулку по парку и снова увидел мир уродливым и серым, полным разложения и распада. Не помогла независимость, не помогла конституция. На тропинке в парке он увидел, как из-под тающего снега выступает красная детская рукавичка, и неизвестно почему это зрелище глубоко запало ему в душу. Упрямое, слепое возрождение. Инерция жизни и смерти. Нечеловеческая машина жизни.

Прошлогодние усилия построить все заново пропали даром.

Чем старше становился Помещик Попельский, тем мир казался ему страшнее. Человек молодой занят собственным развитием, стремлением вперед и расширением границ: от детской колыбельки до комнаты, дома, парка, города, страны, мира. Потом, в расцвете мужских сил, приходит время мечтать о великих свершениях. Около сорока наступает перелом. Моло-

дось с ее силой и интенсивностью устает сама от себя. И однажды ночью или однажды утром человек переходит границу, он достигает своей вершины и делает первый шаг вниз, к смерти. Тогда появляется вопрос: спускаться ли гордо, с лицом, обращенным во тьму, или отвернуться назад, к тому, что было раньше, притворяться и делать вид, что это вовсе не тьма, а просто потушили свет в комнате.

Между тем вид красной рукавички, которая показалась из-под грязного снега, убедил Помещика, что самым большим обманом молодости является всяческий оптимизм, упрямая вера в то, что все изменится, поправится, что во всем есть прогресс. И вот теперь внутри него раскололся сосуд отчаяния, который он носил в себе вечно, как пузырек с цикутой. Помещик смотрел вокруг себя и видел страдание, смерть и распад – они были повсюду, как грязь. Он обошел все Ешкотли, он видел кошерную скотобойню и несвежее мясо на крючьях, и озябшего нищего под магазином Шенберта, и маленькую похоронную процессию, следующую за детским гробом, и низкие тучи над низкими домишками у рынка, и мрак, который врывался отовсюду и уже овладел всем вокруг. Это напоминало медленное, непрерывное самосожжение, в котором человеческие судьбы, целые жизни отдаются на съедение пламени времени.

Когда он возвращался во дворец, то проходил мимо костела и заглянул туда, но ничего там не нашел. Он увидел образ Матери Божьей Ешкотлинской, но в костеле не было никакого Бога, который мог бы вернуть Помещику надежду.

Время Матери Божьей Ешкотлинской

У Матери Божьей Ешкотлинской, заключенной в нарядную раму иконы, обзор был ограничен. Она висела в боковом нефѣ и из-за этого не могла видеть ни алтаря, ни хождения с кропильницей. Колонна заслоняла ей амвон. Видела она только прихожан – отдельных людей, которые заглядывали в костел помолиться, или целые людские ручейки, тянувшиеся к алтарю за причастием. Во время службы она видела десятки человеческих профилей – мужских и женских, стариковских и детских.

Мать Божья Ешкотлинская была чистой волей помощи всему больному и увечному. Она была силой, которая божественным чудом оказалась вписана в икону. Когда люди обращали к ней свои лица, когда шевелили губами и сплетали ладони у живота или складывали домиком на уровне сердца, Мать Божья Ешкотлинская давала им силу для выздоровления. Она давала ее всем без исключения, не из милосердия, а потому, что такова была ее природа – давать силу выздоровления тем, кто в ней нуждается. Что происходило дальше – решали люди. Одни позволяли этой силе начать действовать. Такие выздоравливали. И возвращались потом с дарами: отлитыми из серебра, меди или даже золота миниатюрами излеченных частей тела, с бусами и ожерельями, которыми наряжали икону.

Другие же позволяли силе вытекать из них, точно из дырявого сосуда, и впитываться в землю. Такие теряли веру в чудо.

Так было и с Помещиком Попельским, который появился перед иконой Матери Божьей Ешкотлинской. Она видела, как он встал на колени и пробовал молиться. Но не мог, поэтому, разозлившись, поднялся и смотрел на драгоценные дары, на яркие краски святого образа. Мать Божья Ешкотлинская видела, что ему очень нужна добрая сила, которая помогла бы его телу и душе. И она дала ему ее, залила его с ног до головы, купала в ней. Но Помещик Попельский был непроницаем, точно стеклянный шар, поэтому добрая сила стекла по нему на холодные плиты костела и привела храм в легкое, едва уловимое дрожание.

Время Михала

Михал вернулся летом девятнадцатого года. Это было чудо – ведь в мире, где война перепутала все правила, часто происходят чудеса.

Михал возвращался домой три месяца. Место, откуда он шел, находилось почти на другой стороне земного шара – город на берегу чужого моря, Владивосток. Он освободился от Властелина Востока, владыки хаоса, но поскольку все, что существует за границами Правека, расплывчато и туманно, как сон, Михал уже не думал об этом, входя на мост.

Он был больным, истощенным и грязным. Его лицо заросло черной щетиной, а в волосах гуляли стада вшей. Потрепанный мундир разбитой армии висел на нем, как на палке, и не сохранил ни единой пуговицы. Блестящие пуговицы с царским орлом Михал выменял на хлеб. Еще у него были горячка, понос и мучительное ощущение, что нет больше того мира, который он покидал, отправляясь на войну. Надежда вернулась к нему, когда он остановился на мосту и увидел Черную и Беянку, соединяющиеся в бесконечном веселье. Реки остались на месте, остался мост, остался зной, разрушающий камни.

С моста Михал увидел белую мельницу и красные пеларгонии в окнах.

Перед мельницей играл ребенок. Маленькая девочка с толстыми косичками. Ей могло быть года три-четыре. Вокруг нее с важностью топтались белые куры. Женские руки открыли окно. «Случится самое плохое», – подумал Михал. Отраженное в движении стекла солнце на мгновение ослепило его. Михал направился к мельнице.

Он спал целый день и целую ночь, а во сне пересчитывал все дни последних пяти лет. Его истерзанный, помраченный рассудок путался и блуждал в сонных лабиринтах, поэтому Михал должен был свой пересчет начинать снова и снова. А Геновефа все это время внимательно рассматривала жесткий от пыли мундир, трогала пропотевший воротник, засовывала руки в карманы, пахнущие табаком. Гладила застежки рюкзака, не решаясь открыть его. Потом мундир повис на заборе, так что увидеть его должны были все, кто проходил мимо мельницы.

На следующий день Михал проснулся на рассвете и разглядывал спящего ребенка. Подробно перечислял то, что видит:

– Каштановые волосы, густые... темные брови, смуглая кожа, маленькие уши, маленький нос... у всех детей маленькие носы... руки пухлые, детские, и ногти, маленькие, круглые...

Потом подошел к зеркалу и начал разглядывать самого себя. И показался самому себе чужим человеком.

Он обошел мельницу, гладил вращающееся большое каменное колесо, собирал ладонью мучную пыль, смаковал на кончике языка. Опустил руки в воду, провел пальцем по доскам забора, понюхал цветы, покрутил колесо сенокосилки. Она скрипнула и срезала несколько стеблей крапивы.

За мельницей вошел в высокую траву и помочился.

Когда он вернулся в избу, то отважился взглянуть на Геновефу. Она не спала. Смотрела на него.

– Михал, ни один мужчина не притронулся ко мне.

Время Миси

Мися, как всякий человек, родилась разделенной на части, неполной, из кусочков. Все в ней было по отдельности – способность видеть, слышать, понимать, ощущать, предчувствовать и испытывать. Вся будущая жизнь Миси должна была заключаться в том, чтобы складывать все это в единое целое, а потом позволить ему распасться.

Ей нужен был кто-то, кто встал бы перед ней и служил для нее зеркалом, в котором она будет отражаться как единое целое.

Первое воспоминание Миси было связано с образом оборванного человека на дороге к мельнице. Ее отец еле держался на ногах, он потом часто плакал по ночам, прижавшись к маминой груди. Поэтому Мися восприняла его как равного себе.

С тех пор она чувствовала, что между взрослым и ребенком не существует разницы ни в чем, что по-настоящему было бы важным. Ребенок и взрослый – это переходные стадии. Мися внимательно наблюдала, как меняется она сама и как вокруг нее меняются другие, но не знала, к чему это ведет, что является целью этих перемен. В картонной коробке она хранила вещи на память о себе самой, сначала маленькой, а потом подросток: вязанные младенческие ботиночки, маленькая шапочка, словно ее шили на куклу, а не на голову ребенка, полотняная рубашечка, первое платьице. Потом она ставила свою шестилетнюю ступню рядом с вязанным ботиночком и прозревала захватывающие дух законы времени.

После возвращения отца Мися начала видеть мир. До этого все было расплывчатым и нерезким. До возвращения отца Мися не помнила себя, словно она и не существовала. Помнила отдельные вещи. Мельница казалась ей тогда единой огромной машиной, без начала и конца, без низа и верха. Потом она увидела мельницу иначе – рассудком. Мельница имела смысл и форму. С другими вещами было так же. Когда-то давно если Мися думала «река», это означало что-то холодное и мокрое. Сейчас она видела, что река плывет откуда-то и куда-то, что это одна и та же река перед мостом и за мостом, что есть еще другие реки... Ножницы – когда-то это был странный, непонятный и трудный в использовании инструмент, которым магически орудовала мама. С тех пор как во главе стола появился отец, Мися увидела, что ножницы – это простой механизм из двух лезвий. Она соорудила нечто похожее из двух плоских щепок.

Потом она долго пыталась снова увидеть вещи такими, какими они были прежде, но отец изменил мир навсегда.

Время кофемолки Миси

Люди думают, что живут интенсивнее, чем звери, растения и уж тем более предметы. Звери чувствуют, что живут интенсивнее, чем растения и предметы. Растениям снится, что они живут интенсивнее, чем предметы. А предметы просто существуют во времени, и это бытие во времени является жизнью в гораздо большей степени, чем что-либо иное.

Кофемолка Миси возникла благодаря чьим-то рукам, которые соединили дерево, фарфор и латунь в единое целое. Дерево, фарфор и латунь материализовали идею перемалывания. Перемалывания кофейных зерен, чтобы люди потом заливали их кипятком. Нет никого, о ком можно было бы сказать, что это именно он придумал кофемолку, ведь созидание является лишь воспоминанием о том, что существовало вне времени, то есть вечно. Человек не может создавать из ничего, это способность, присущая одному Богу.

У кофемолки живот из белого фарфора, а в животе полость, внутри которой деревянный ящичек собирает плоды труда. Прямо на этом животе сверху – латунная шляпка, а к ней приделана рукоятка, увенчанная кусочком дерева. У шляпки есть отверстие с крышечкой, в него засыпают шелестящие зернышки кофе.

Кофемолка возникла на какой-то мануфактуре, а потом попала в чей-то дом, где ежедневно перед полуднем молола кофе. Ее держали какие-то руки, теплые и живые. Прижимали к груди, где под ситцем или фланелью билось человеческое сердце. Потом война смела ее своим вихрем с безопасной полки на кухне в коробку к другим предметам, в саквояжи и мешки, в вагоны поездов, в которых люди в паническом страхе бежали от смерти. Кофемолка, как и любая вещь, вбирала в себя весь хаос мира: образы обстреливаемых поездов, ленивые струйки крови, брошенные дома, окнами которых каждый год играл новый ветер. Она впитывала в себя тепло остывающих человеческих тел и ужас расставания с миром знакомых и понятных вещей. Разные руки прикасались к ней, поглаживая бесчисленным множеством переживаний и мыслей. Кофемолка принимала их, ибо такую способность имеет всякая материя – удерживать то, что мимолетно и преходяще.

Далеко на востоке ее нашел Михал и в качестве военного трофея спрятал в свой солдатский рюкзак. Вечером на постое нюхал ее ящичек – пахло безопасностью, кофе, домом.

Мися выходила с кофемолкой во двор, к скамейке, и крутила ручку. Кофемолка шла легко, словно играла с Мисей. Мися на скамейке разглядывала мир, а кофемолка вращалась и молола пустое пространство. Но однажды Геновефа всыпала в нее горсть черных зернышек и велела перемолоть. Ручка тогда уже не поворачивалась так плавно. Кофемолка слегка поперхнулась и начала работать, потихоньку входя в ритм и поскрипывая. Игра закончилась. В работе кофемолки было столько важности, что никто не посмел бы уже остановить ее. Она была теперь самой стихией перемалывания. А потом к кофемолке, Мисе и целому миру добавился запах свежемолотого кофе.

Если приглядеться к вещам внимательнее, с закрытыми глазами – чтобы не обмануться видимостью, которой они себя обволакивают, – если позволить себе стать недоверчивым, то можно хотя бы на мгновение увидеть их настоящий облик.

Вещи представляют собой нечто, погруженное в совсем иную реальность, где нет ни времени, ни движения. Можно увидеть лишь их поверхность. Остальное, скрытое где-то там, есть смысл и суть каждого материального предмета.

Вот, например, кофемолка.

Кофемолка – это кусочек материи, в которую вдохнули идею перемалывания. Кофемолки мелют кофейные зерна и потому существуют. Но никто не знает, что кофемолка означает вообще. Быть может, кофемолка – это осколок некоего тотального, фундаментального закона изменчивости, закона, без которого мир не мог бы обойтись или был бы совершенно иным.

Может быть, кофемолки – это оси реальности, вокруг которых все крутится и вертится, может, они для мира важнее, чем люди.

И может, вот эта единственная Мисина кофемолка является опорой всего того, что называется Правеком.

Время Ксендза Настоятеля

Поздняя весна была для Ксендза Настоятеля самой ненавистой порой года. Ближе ко Дню Святого Яна Черная бессовестно заливала его луга.

Ксендз был от природы вспыльчив и крайне чувствителен в вопросах, затрагивающих его достоинство, поэтому когда он видел, как нечто столь неконкретное и расплывчатое, совершенно никакое, бессмысленное, ускользающее и трусливое отнимает у него луга, его охватывал гнев.

Вместе с водой тотчас появлялись бесстыдные лягушки. Голые и мерзкие, они непрерывно взбирались друг на друга и тупо спаривались. И издавали при этом паскудные звуки. Именно такой голос должен быть у дьявола: скрипучий, влажный, хриплый от сладострастия, дрожащий от неудовлетворимого вожделения. Кроме лягушек на лугах появлялись водяные змеи, которые передвигались столь отвратительным извивающимся манером, что Ксендзу тут же делалось дурно. От одной мысли, что такое вот продолговатое осклизлое тело может коснуться его ботинка, Ксендза сотрясала дрожь омерзения, а желудок его сжимался в спазмах. Образ змеи надолго потом западал ему в сознание и портил сны. В разливах появлялись также и рыбы, к ним Ксендз Настоятель относился лучше. Рыб можно было есть. А значит, это было нечто благое и богоугодное.

Река разливалась по лугам за три короткие ночи. А после вторжения отдыхала и отражала в себе небо. Отлеживалась так в течение месяца. И целый месяц под водой гнили густые травы, а если лето было знойным, то над лугами витал запах разложения.

После Святого Яна Ксендз Настоятель ежедневно приходил смотреть, как черная речная вода заливает цветочки святой Малгожатки, колокольчики святого Роха, траву святой Клары. Иногда ему казалось, что невинные белые головки цветов, залитых по самую шею, зовут его на помощь. Он слышал их тоненькие голоски, похожие на звуки колокольчиков после Освящения Даров. Но ничего не мог для них сделать. Его лицо наливалось кровью, а кулаки бессильно сжимались.

Он молился. Начиная со Святого Яна, освящающего всякие воды. Но Ксендзу Настоятелю во время этой молитвы часто казалось, что Святой Ян не слушает его, что он больше занят равнодушием и кострами, которые разжигает молодежь, водкой, венками, бросаемыми на воду, ночным шелестом в кустах. Ксендз имел некоторую претензию к Святому Яну, который каждый год регулярно допускал, чтобы Черная заливала луга. По этой причине он даже был слегка обижен на Святого Яна. И начал молиться самому Богу.

На следующий год после страшного паводка Бог молвил Ксендзу Настоятелю: «Отгороди реку от лугов. Привези землю и построй защитный вал, который удержит реку в ее русле». Ксендз поблагодарил Господа и принялся организовывать насыпку валов. В течение двух недель он гремел с амвона, что река уничтожает дары Божьи, и призывал к солидарному противостоянию стихии следующим образом: с каждого двора один мужчина два дня в неделю будет сносить землю и насыпать вал. На Правек пали четверг и пятница, на Ешкотли – понедельник и вторник, на Котушув – среда и суббота.

В первый день, назначенный для Правека, на работу явилось только двое крестьян – Маляк и Херувин. Разгневанный Ксендз Настоятель сел в свою бричку на рессорах и объехал все халупы в Правеке. Оказалось, что у Серафина сломан палец, молодого Флориана забирают в армию, у Хлипалов родился ребенок, а у Святоша вылезла грыжа.

Так Ксендз ничего и не добился. Разочарованный, он вернулся домой.

Вечером во время молитвы он снова советовался с Богом. И Бог ответил: «Заплати им». Ксендз Настоятель несколько смешался, получив такой ответ. Но поскольку Бог Ксендза Настоятеля бывал иногда очень похож на самого Ксендза Настоятеля, то тут же добавил: «Дай им не

больше десяти грошей за рабочий день, иначе овчинка выделки не стоит. Все сено не потянет больше чем на пятнадцать злотых».

Поэтому Ксендз Настоятель снова поехал на бричке в Правек и нанял нескольких рослых крестьян для насыпки вала. Он взял на работу Юзека Хлипалу, у которого родился сын, Серафина со сломанным пальцем и еще двоих батраков.

У них была только одна телега, так что работа продвигалась медленно. Ксендз беспокоился, что весенняя погода перечеркнет все планы. Он как мог поторапливал мужиков. Сам подворачивал сутану и, следя за безопасностью своих дорогих кожаных ботинок, бегал между мужиками, ощупывал мешки, охаживал кнутом лошадь.

На следующий день на работу пришел один только Серафин со сломанным пальцем. Разгневанный Ксендз снова объехал на бричке всю деревню, но оказалось, что работников или нет дома, или они лежат, сраженные болезнью.

Это был тот день, когда Ксендз Настоятель возненавидел всех крестьян из Правека – ленивых, праздных и жадных до денег. Он с жаром оправдывался перед Богом за свое чувство, недостойное слуги Божьего. Он снова просил у Бога совета. «Подними им ставку, – молвил ему Бог. – Дай им пятнадцать грошей за рабочий день, и хотя из-за этого ты не получишь никакой прибыли за сено в нынешнем году, зато возместишь потерю в следующем». Это был мудрый совет. Работа пошла.

Сначала телегами свозили песок из-за Горки, потом этот песок грузили в джутовые мешки и обкладывали ими реку, словно она была ранена. И только тогда засыпали все землей и сеяли траву.

Ксендз Настоятель с радостью рассматривал собственное произведение. Теперь река была полностью отгорожена от луга. Река не видела луга, луг не видел реки.

Река уже не пробовала вырваться из обозначенного для нее места. Она текла себе, спокойная и задумчивая, непрозрачная для человеческого глаза. Вдоль ее берегов луга зазеленели и затем покрылись одуванчиками.

На ксендзовых лугах цветы молятся, не зная устали. Молятся все эти цветочки святой Малгожатки и колокольчики святого Роха, а также обыкновенные желтые одуванчики. От постоянных молитв одуванчики становятся все менее материальными, все менее желтыми, все более одухотворенными, так что в июне вокруг их головок появляются нимбы. Тогда Бог, тронутый их набожностью, присылает теплые ветры, которые забирают просветленные души одуванчиков на небо.

Эти же теплые ветры принесли на Святого Яна дожди. Река поднималась сантиметр за сантиметром. Ксендз Настоятель не спал и не ел. Через луга и дамбы он бегал к реке и смотрел. Измерял палкой уровень воды и бормотал под нос проклятия и молитвы. Река не обращала на него внимания. Она текла широким потоком, образовывала воронки, подмывала ненадежные берега. Двадцать седьмого июня луга Ксендза Настоятеля начали пропитываться водой. Ксендз бегал с палкой по свеженасыпанному валу и с отчаянием смотрел, как вода с легкостью проникает в щели, просачивается какими-то лишь ей известными дорожками, проходит под валом. В следующую ночь воды Черной разрушили песочную преграду и, как это происходило каждый год, разлились по лугам.

В воскресенье Ксендз с амвона сравнил выходку реки с кознями сатаны. Что, мол, сатана ежедневно, час за часом, как вода, покушается на душу человека. И посему человек должен прикладывать неустанные усилия, чтобы ставить ему преграды. Что малейшее пренебрежение ежедневными религиозными обязанностями ослабляет эту преграду и что упорство искушителя можно сравнить с упорством воды. Что грех сочтется, течет и капает на крылья души, а волны зла захлестывают человека, пока тот не попадает в его водовороты и не идет на дно.

После такой проповеди Ксендз Настоятель еще долго оставался возбужденным и не мог спать. Не мог спать от ненависти к Черной. Он говорил сам себе, что нельзя ненавидеть реку

– обыкновенный поток мутной воды, даже не растение и не животное, а просто физическое оформление ландшафта. Как это возможно, чтобы он, Ксендз, мог испытывать нечто столь абсурдное? Ненавидеть реку!

А все же это была ненависть. Дело было даже не в подмоченном сене, дело было в бессмысленном и тупом упрямстве Черной, в ее бесчувственности, эгоизме и безграничной тупости. Когда он так думал о ней, кипящая кровь пульсировала в его висках и стремительно неслась по артериям. Его разбирало. Он вставал и одевался, невзирая на ночную пору, а потом выходил из дома и шел на луга. Холодный воздух отрезвлял его. Он улыбался сам себе и говорил: «Как можно злиться на реку, обычное углубление в грунте? Река это только река, и ничего больше». Но когда вставал на ее берегу, все возвращалось. Его охватывали отвращение, омерзение и ярость. Охотнее всего он засыпал бы ее землей, от истока до самого устья. И, оглядываясь, не видит ли кто-нибудь, срывал ольховую ветку и хлестал ею округлые, бесстыдные тела реки.

Время Эли

– Уйди. Я потом спать не могу, – сказала ему Геновефа.

– А я не могу жить, когда тебя не вижу.

Она посмотрела на него светлыми серыми глазами, и он опять почувствовал, что этим своим взглядом она дотронулась до самой глубины его души. Геновефа поставила ведра на землю и отбросила пряжку со лба.

– Возьми ведра и иди за мной на речку.

– Что скажет твой муж?

– Он у Помещика, во дворце.

– А что скажут работники?

– Ты мне помогаешь.

Эли подхватил ведра и двинулся за ней по каменистой дорожке.

– Ты возмужал, – сказала Геновефа, не оборачиваясь.

– А ты думаешь обо мне, когда мы не видимся?

– Я тогда думаю, когда ты обо мне думаешь. Каждый день. Ты мне снишься.

– Господи! Почему ты не прекратишь этого? – Эли резко поставил ведра на тропинке. – Что за грех совершил я сам или мои отцы? Почему я должен так мучиться?

Геновефа остановилась и смотрела себе под ноги.

– Не богохульствуй, Эли.

С минуту они молчали. Эли поднял ведра, и они двинулись дальше. Тропинка расширилась. И теперь они могли идти рядом.

– Мы больше не увидимся, Эли. Я беременна. Осенью рожу ребенка.

– Это должен был быть мой ребенок.

– Все разрешилось и утряслось само собой...

– Убежим в город, в Кельце.

– ...Нас разделяет все. Ты молодой, я старая. Ты еврей, я полька. Ты из Ешкотлей, я из Правека. Ты свободный, я замужняя... Ты – движение, я – стояние на месте.

Они вошли на деревянный помост, и Геновефа начала вынимать белье из ведра. Погружала его в холодную воду. Темная вода вымывала светлую мыльную пену.

– Это ты мне голову заморочила, – сказал Эли.

– Знаю.

Она прервала стирку и впервые положила голову ему на плечо. Он почувствовал запах ее волос.

– Я полюбила тебя, как только увидела. Сразу. Такая любовь никогда не проходит.

– А это любовь?

Она не ответила.

– Из моих окон видно мельницу, – сказал Эли.

Время Флорентинки

Людам кажется, что причиною безумия является большое и драматичное событие, какое-то страдание, которое невозможно вынести. Им кажется, что с ума сходят по какой-нибудь причине – уход любовника, смерть близкого человека, потеря имущества, взгляд в лицо Бога. Люди также думают, что с ума сходят внезапно, в один миг, при каких-то необычных обстоятельствах и что безумие накрывает человека, словно охотничья сеть, опутывает рассудок, мешает чувства.

Между тем Флорентинка сошла с ума совершенно просто и, можно сказать, безо всякой причины. Раньше у нее были причины для безумия – когда ее муж утопился спьяну в Белянке, когда умерло семеро из девяти ее детей, когда у нее случался один выкидыш за другим, когда она сама избавлялась от тех, кого ее тело не выбросило, и дважды чуть не умерла из-за этого, когда у нее сгорел амбар, когда оставшиеся в живых двое детей бросили ее и затерялись где-то на свете.

Теперь Флорентинка была уже старая, и все ее переживания остались в прошлом. Сухая, как щепка, и беззубая, она жила себе в деревянном домике около Горки. Одни окна ее дома выходили на лес, другие на деревню. У Флорентинки осталось две коровы, которые ее кормили и которые кормили также ее собак. У нее был маленький сад, полный червивых слив, а летом перед домом цвели густые заросли гортензии.

Флорентинка сошла с ума незаметно. Сначала у нее болела голова, и она не могла спать по ночам. Ей мешала луна. Флорентинка говорила соседкам, что луна за ней следит и что ее неусыпный взгляд проникает сквозь стены и окна, а ее свет расставляет на нее ловушки в зеркалах, стеклах и отражениях на воде.

Потом Флорентинка начала по вечерам выходить из дома и поджидать луну. Та поднималась над лугами, всегда одна и та же, хоть и в разных обликах. Флорентинка грозила ей кулаком. Люди увидели этот кулак, поднятый к небу, и сказали: она сошла с ума.

Тело Флорентинки было маленькое и худое. От поры вечно родящей женскости у нее остался круглый живот, который теперь выглядел смешно, точно буханка хлеба, вложенная под юбку. От поры вечно родящей женскости у нее не осталось ни единого зуба, как в поговорке: «один ребенок – один зуб». Что-то взамен чего-то. Груды Флорентинки – а вернее, то, во что со временем превращается женская грудь, – были плоские и вытянутые. Они жались к телу. Кожа напоминала папиросную бумагу для заворачивания елочных игрушек после праздника, и сквозь нее были видны тонкие голубые вены – знак того, что Флорентинка все еще жива.

Это были времена, когда женщины умирали быстрее мужчин, матери быстрее отцов, жены быстрее мужей. Женщины всегда были сосудами, из которых струится человечество. Дети вылуплялись из них, как цыплята из яиц. Яйцо должно было потом само склеиться обратно. Чем сильнее была женщина, тем больше детей рожала, а значит, тем слабее становилась. На сорок пятом году жизни тело Флорентинки, вызволенное из круговорота вечного рожания, достигло своеобразной нирваны бесплодия.

С тех пор как Флорентинка сошла с ума, в ее хозяйстве стало прибывать кошек и собак. Вскоре люди начали воспринимать ее как спасение для собственной совести и, вместо того чтобы топить маленьких котят или щенков, подбрасывали их под кусты гортензии. Две коровы-кормилицы обеспечивали руками Флорентинки пропитание для стада звериных подкидышей. Флорентинка всегда относилась к животным с уважением, словно к людям. Она не считала их какими-то неразумными существами и даже обращалась к ним «любезные собаки» и «любезные кошки». Утром говорила им «здравствуйте», а когда ставила миски с молоком, не забывала добавить «приятного аппетита».

Флорентинка вовсе не считала себя сумасшедшей. Да и ничего особенного в том, что луна преследовала ее, как самый обычный преследователь. Но вот однажды ночью произошло что-то странное.

Как всегда в полнолуние, Флорентинка взяла своих собак и вышла на горку, чтобы поругать луну. Собаки легли вокруг нее на траве, а она кричала в небо:

– Где мой сын? Чем ты охмурила его, ты, жирная серебряная жаба? Ты отуманила мозги моему старику и заманила его в реку! Я видела тебя сегодня в колодце, я с поличным тебя поймала – ты хотела отравить нам воду...

В доме Серафинов зажегся свет, и мужской голос крикнул в темноту:

– Тихо ты, сумасшедшая! Мы хотим спать.

– А и спите себе, спите до смерти! И надо было на свет рождаться, чтобы потом спать?

Голос умолк, а Флорентинка села на землю и смотрела в серебряное лицо своей притеснительницы. Оно было изрыто морщинами, слезящееся, со следами какой-то космической оспы. Любезные собаки устроились на траве, и в их темных глазах тоже отражалась луна. Они сидели тихо, а потом старая женщина положила ладонь на голову большой кудлатой суки. И вдруг заметила в своем мозгу не свою мысль, даже не мысль, а зарисовку мысли, картину, впечатление. Это нечто было инородно ее мышлению, не только потому, что, как она чувствовала, происходило извне, но и потому, что оно было совершенно иное – одноцветное, резкое, объемное, осязаемое, пахнущее.

Там были небо и две луны, одна рядом с другой. Была река – холодная, радостная. Были дома – манящие и страшные одновременно. Линия леса – вид, рождавший странное возбуждение. На траве лежали палки, камни, листья, наполненные образами и воспоминаниями. А рядом с ними тонкими ручейками струились смыслы. Под землей – теплые, живые коридоры. Все было иным. Только очертания мира остались теми же. Тогда своим человеческим разумом Флорентинка поняла, что люди были правы: она сошла с ума.

– Это я с тобой, что ли, разговариваю? – спросила она собаку, голова которой лежала у нее на коленях.

Ответ и так был ясен.

Они вернулись домой. Флорентинка разлила по мискам остатки вечернего молока. И сама тоже села есть. Мочила в молоке хлеб и жевала его беззубыми деснами. Жуя, она посмотрела на одну из собак и попробовала ей что-нибудь сказать. При помощи образа.пустила мысль, «представила» что-то вроде: «Я здесь, я кушаю». Собака подняла голову.

Этой ночью – то ли из-за луны-преследовательницы, то ли из-за собственного безумия – Флорентинка научилась разговаривать со своими собаками и кошками. Беседы заключались в отправлении образов. То, что представляли животные, не было столь четким и конкретным, как речь людей, там не было рефлексии. Зато были вещи, увиденные изнутри, без этой человеческой дистанции, от которой возникает чувство отчуждения. Мир благодаря этому казался дружелюбнее.

Самыми главными для Флорентинки были те две луны из собачьих картин. Странно, что животные видели две луны, а люди только одну. Флорентинка не могла этого понять, поэтому в конце концов перестала и пытаться. Луны были разными, в каком-то смысле даже противоположными друг другу, и вместе с тем идентичными. Одна – мягкая, чуть влажная, деликатная. Другая – твердая, как серебро, она радостно звенела и сияла. Натура Флорентинкиной преследовательницы была, таким образом, двойственной, а значит, представляла для нее еще большую угрозу.

Время Миси

Мися, когда ей было десять лет, оказалась самой маленькой в классе и потому сидела в первом ряду. Учительница, проходя между рядами, всегда гладила ее по голове.

На обратном пути из школы Мися собирала разные необходимые куклам вещи: кожуру от каштанов – для тарелок, желудевые шапочки – для чашек, мох – для подушек.

Но придя домой, она не могла решить, во что бы ей поиграть. С одной стороны, ей хотелось возиться с куклами, наряжать их в платьица, кормить разными кушаньями, которых не видно, хотя на самом деле они есть. Ей хотелось пеленать их неподвижные тельца, рассказывать им на ночь простые тряпичные истории. Но потом, когда она брала их на руки, ее охватывало разочарование. Не было уже ни Кармиллы, ни Юдиты, ни Бобасека. Мися видела лишь плоские глаза, нарисованные на розовых лицах, намалеванные красные щеки и навечно сросшиеся губы, для которых не существует никакой еды. Мися переворачивала то, что минуту назад считала Кармиллой, и отвешивала крепкий шлепок. Она чувствовала, что бьет по опилкам, обтянутым тканью. Кукла не жаловалась, не протестовала. Мися усаживала ее розовым лицом к окну и переставала ею заниматься. А сама отправлялась порыться на мамином туалетном столике.

Это было так чудесно – прокрадываться в спальню родителей и садиться перед двусторонним зеркалом, которое могло показать даже то, чего обычно не видно: тень в углах, заднюю часть собственной головы. . . Мися примеряла бусы и кольца, открывала флакончики и подолгу постигала тайны помады. Однажды, особенно сильно разочарованная своими Кармиллами, она поднесла помаду к губам и раскрасила их в кроваво-красный. Этот пронзительный цвет сдвинул время, и Мися увидела себя в далеком будущем, такой, какой она умрет. Она быстро стерла помаду с губ и вернулась к куклам. Взяла в свои руки грубые, набитые опилками лапки и захлопала ими беззвучно.

И все же она снова и снова возвращалась к туалетному столику матери. Примеряла ее атласные лифчики и туфли на высоком каблуке. Из кружевной сорочки делала себе платье до пола. Смотрела на свое отражение в зеркале и вдруг казалась самой себе смешной. «А может, лучше сшить бальное платье Кармилле?» – думала она и, воодушевленная этой мыслью, шла к своим куклам.

Однажды, оказавшись на перепутье между маминым столиком и куклами, Мися обнаружила ящик в кухонном столе. В этом ящике было все. Целый мир.

Во-первых, здесь хранили фотографии. На одной из них был отец в русском мундире с каким-то товарищем. Они стояли, обнявшись, словно друзья. У отца были усы от уха до уха. Где-то на заднем плане струился фонтан. На другом снимке – головы папы и мамы. Мама в белой фате, а у папы – все те же черные усы. Любимой же фотографией Миси стала та, где у мамы были коротко стриженные волосы и лента на лбу. Мама выглядела на ней, как настоящая дама. А еще у Миси тут хранилась ее собственная фотография, где она сидит на скамейке перед домом с кофемолкой на коленях, а над ее головой цветет сирень.

Во-вторых, в ящике лежал самый ценный, по мнению Миси, предмет в доме. «Лунный камень», как она его называла. Как-то его нашел на поле отец и сказал, что он не такой, как все другие камни. Он был почти идеально круглым, а в его поверхность впились маленькие крошки чего-то очень блестящего. Он был похож на елочную игрушку. Мися прикладывала его к уху и ждала какого-нибудь звука, знака от камня. Но камень с неба молчал.

В-третьих, здесь был старый термометр с разбившейся внутри трубочкой для ртути. Поэтому ртуть могла блуждать по термометру свободно, не стесненная никакими преградами, независимая от температуры. Она то растягивалась в струйку, то вдруг застывала, свернувшись в шарик, словно перепуганный зверек. То казалась черной, а в следующий момент была и чер-

ная, и серебристая одновременно, или даже белая. Мися любила играть термометром с запертой в нем ртутью. Она считала ртуть живым существом. И назвала ее Искрой. Когда открывала ящик, то говорила тихонько:

– Здравствуй, Искра.

В-четвертых, в ящик бросали старую бижутерию, поврежденную или вышедшую из моды, все эти дешевые ярмарочные покупки, перед которыми бывает невозможно устоять. Порванная цепочка, с которой стерлась золотая краска, обнажив серый металл, роговая брошка, тонкая и ажурная, с изображением Золушки, которой птицы помогают выбирать горох из пепла. Из-под каких-то бумаг подмигивали стеклянные глазки забытых перстней с бархолки, зажимы сережек, стеклянные бусинки разной формы. Мися восхищалась их простой бесполезной красотой. Смотрела в окно сквозь зеленый глазок перстня. Мир становился другим. Красивым. Она никогда не могла решить, в каком мире ей хотелось бы жить: в зеленом, рубиновом, голубом или желтом.

В-пятых, среди прочих предметов здесь лежал спрятанный от детей пружинный нож. Мися боялась этого ножа, хотя иногда представляла, как могла бы им воспользоваться. Например, защищая папу, если бы кто-нибудь захотел сделать ему что-то плохое. Нож выглядел невинно. У него была темно-красная эбонитовая рукоятка, в которой коварно спряталось лезвие. Мися видела когда-то, как отец высвободил его одним движением пальца. Само это «щелк» звучало как нападение и вызывало у Мисы дрожь. Поэтому она соблюдала осторожность, чтобы даже случайно не задеть ножа. Оставляла его лежать на своем месте, в глубине, в правом углу ящика, под святыми образками.

В-шестых, на ноже лежали собираемые годами маленькие святые образки, какие Ксендз Настоятель раздает детям, обходя прихожан после праздника Трех Королей. Почти все они изображали или Матерь Божью Ешкотлинскую, или маленького Иисуса в кургузой рубашонке, пасущего агнца. Иисус был пухленький, и у него были светлые кудрявые волосы. Мися любила такого Иисуса. Но одна из иконок изображала бородатого Бога Отца, развалившегося на небесном троне. Бог держал в руке поломанную палку, и Мися долго не знала, что это такое. Потом она поняла, что это Пан Бог держит молнию, и стала его бояться.

Среди иконок валялся медальон. Это не был обычный медальон. Он был сделан из копейки. На одной стороне – отштампованный образ Божьей Матери, а на другой орел направлял свои крылья.

В-седьмых, в ящике побрякивали маленькие свиные суставчики идеально правильной формы, которыми играли в кости. Мися караулила мать, когда та готовила заливное из ножек, чтобы она не выбрасывала косточек. Самые ровненькие нужно было тщательно очистить, а потом высушить на печке. Мися любила держать их в руках, они были легкие и очень похожие, совсем одинаковые – даже от разных свиней. Как это может быть, задумывалась Мися, что все свиньи, которых убивают на Рождество или Пасху, все свиньи на свете имеют внутри одни и те же косточки для игры? Порой Мися представляла себе живых свиней, и ей становилось их жалко. Но в их смерти была по крайней мере одна светлая сторона – после них оставались кости для игры.

В-восьмых, в ящик складывали старые использованные батарейки Вольты. Поначалу Мися вообще их не трогала, как и пружинный нож, потому что отец сказал, что они еще могут быть заряжены энергией. Но постижение энергии, замкнутой в маленькой плоской коробочке, было необыкновенно притягательным. Это напоминало ртуть, плененную в термометре. Только ртуть можно было увидеть, а вот эту энергию – нельзя. Как выглядит энергия? Мися брала батарейку и несколько секунд взвешивала на ладони. Энергия была тяжелая. В такой маленькой коробочке должно было быть много энергии. Наверное, ее укладывали там, как капусту для закваски, и уминали кончиком пальца. Потом Мися касалась языком желтого про-

водка и чувствовала легкое пощипывание – это из батарейки выделялись остатки невидимой электрической энергии.

В-девятых, Мися находила в ящике разные лекарства и знала, что их категорически нельзя брать в рот. Там были мамины таблетки и папина мазь. Особенно белые мамины порошки в бумажных пакетиках вызывали у Миси уважение. Перед тем как их принять, мама бывала сердитая, раздраженная, и у нее болела голова. А потом, когда она их проглатывала, она успокаивалась и начинала раскладывать пасьянс.

Ну и наконец, в-десятых, там были карты для пасьянса и игры в рамми. Они все с одной стороны выглядели одинаково – зеленые растительные узоры, но когда Мися их переворачивала, открывалась галерея портретов. Мися часами разглядывала лица королей и королев. Пыталась отгадывать связи между ними. Она подозревала, что, едва только ящик задвигается, они начинают вести между собой долгие разговоры, может быть, даже ссорятся из-за придуманных королевств. Больше всего она любила пиковую даму. Та казалась ей самой красивой и самой грустной. У пиковой дамы был злой муж. У пиковой дамы не было друзей. Она была очень одинокой. Мися всегда искала ее в рядах маминого пасьянса. Искала ее и тогда, когда мама начинала гадать. Но мама слишком долго всматривалась в разложенные карты. Мисе становилось скучно, когда на столе ничего не происходило. Тогда она опять принималась рыться в ящике, в котором был весь мир.

Время Колоски

В лачуге Колоски на Выдымаче жили змей, сова и коршун. Животным никогда не приходилось делить между собой территорию. Змей жил на кухне, около очага, и там Колоска ставила ему миску с молоком. Сова сидела на чердаке, в нише замурованного окна, и была похожа на статуэтку. Коршун обитал у сводов крыши, в самой высокой точке дома, хотя его настоящим домом было небо.

Дольше всего Колоска приручала змея. Ежедневно выставляла ему молоко, и миска все ближе пододвигалась к дому. Однажды змей приполз к ее ногам. Она взяла его на руки и, вероятно, вскружила ему голову своей теплой кожей, которая пахла травой и молоком. Змей обвился вокруг ее плеча и золотыми зрачками заглянул в светлые глаза Колоски. Она дала ему имя Злотыс.

Злотыс влюбился в Колоску. Ее теплая кожа согревала холодное тело и холодное сердце змея. Он жаждал ее запаха, бархатного прикосновения ее кожи, с которым ничто на земле не могло сравниться. Когда Колоска брала его на руки, ему казалось, что он, обыкновенное пресмыкающееся, превращается в нечто совершенно иное, в нечто необыкновенно важное. Он приносил ей в дар пойманных мышей, красивые молочно-белые камушки с реки, кусочки коры. А однажды – яблоко, и женщина, смеясь, поднесла его ко рту, а смех ее пах изобилием.

– Ах ты искустель, – говорила она ему ласково.

Иногда она бросала ему что-то из своей одежды, тогда Злотыс вползал в платье и наслаждался остатками запаха Колоски. Он поджидал ее на всех тропинках, по которым она ходила, следил за каждым ее движением. Она позволяла ему лежать днем на ее постели. Она носила его на шее, словно серебряную цепь, опоясывала им бедра, он заменял ей браслеты, а ночью, когда она спала, он смотрел ее сны и украдкой лизал ей уши.

Злотыс страдал, когда женщина занималась любовью со Злым Человеком. Он чувствовал, что Злой Человек – чужой и для людей, и для животных. Он тогда зарывался в листья или смотрел солнцу прямо в глаза. На солнце жил ангел-хранитель Злотыса. Ангелами-хранителями змей являются драконы.

Однажды Колоска лугом шла к Реке за травами, змей был у нее на шее. Им встретился Ксендз Настоятель. Ксендз увидел их и отшатнулся в ужасе.

– Колдуня! – кричал он и размахивал тростью. – Держись подальше от Правека и Ешкотлей и от моих прихожан. Это ты с дьяволом на шее прогуливаешься? Разве не слышала ты, что гласит Писание? Что Господь Бог сказал змию? «И вражду положу между тобою и между женою; она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пятую».

Колоска рассмеялась и задрала юбку, показывая голый пах.

– Изыди! Изыди, сатана! – закричал Ксендз Настоятель и несколько раз осенил себя крестом.

Летом двадцать седьмого года перед лачугой Колоски вырос дягиль. Колоска наблюдала за ним с той самой минуты, когда он выпустил из земли жирный, толстый и жесткий побег. Она смотрела, как он постепенно разворачивает свои крупные листья. Он рос все лето, день ото дня, час от часу, пока не достиг крыши лачуги и не раскрыл над ней свои роскошные зонтики.

– И что теперь, дружок? – сказала ему Колоска с иронией. – Ты так рвался, так тянулся к небу, что теперь твои семена проклюнутся в стрехе, а не в земле.

Дягиль вырос двухметровой высоты, и листья его были столь могучи, что забирали солнце у всего вокруг. Под конец лета ни одно растение не могло расти рядом с ним. На Святого Михала он зацвел, и несколько жарких ночей Колоска не могла спать из-за терпко-сладкого запаха, который пронизывал воздух. Мощное жилистое тело растения отпечатывалось резкими контурами на серебряном лунном небе. Иногда какой-нибудь ветерок шелестел в зонтиках, и

осыпались отцветшие цветы. Колоска на этот шелест осторожно приподнималась на локте и внимательно прислушивалась к жизни дягиля. Вся комната была полна манящих ароматов.

И однажды, когда Колоска наконец уснула, перед ней предстал юноша со светлыми волосами. Он был высокий, могучего телосложения. Его плечи и бедра выглядели так, будто были из полированного дерева. Его освещало лунное сияние.

– Я наблюдал за тобой через окно, – сказал он.

– Я знаю. Ты так благоухаешь, что рассудок мутится.

Юноша вошел на середину комнаты и протянул обе руки к Колоске. Она нырнула в них и приникла лицом к могучей твердой груди. Он легко приподнял ее, чтобы их уста могли найти друг друга. Колоска из-под прикрытых век увидела его лицо – оно было шероховатое, как стебель растения.

– Я хотела тебя все лето, – сказала она в губы, пахнувшие конфетами, засахаренными фруктами и землей после дождя.

– А я тебя.

Потом они лежали на полу и терлись друг о друга, как трутся полевые травы. А потом дягиль посадил Колоску себе на бедра и пускал в нее свой корень – все глубже и глубже, ритмично пронизывая все ее тело, обследуя его внутренние уголки, выпивая из него соки. Он пил из нее до утра, пока небо не стало серым и не запели птицы. И тогда дягиль сотрясла дрожь, и его твердое древесное тело замерло без движения. Зашелестели зонтики, и на голое изнемогшее тело Колоски посыпались сухие колкие семена. Потом светловолосый юноша вернулся на свое место перед домом, а Колоска целый день вылуцивала из волос пахучие зернышки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.